

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

I

Рассказ этот был создан Достоевским в период собирания материалов и подготовки к «Братьям Карамазовым», когда звёздчатая структура Пятикнижия стала самоочевидна. Высшие Силы дали возможность завершить великий замысел буквально “на падающем флажке” – здоровья совсем не оставалось. Между тем осевая структура целого требовала завершения в зените (при горизонтальном положении) таким же концептуальным замком, каким в надире были «Записки из подполья». Это произведения-близнецы и их квази-авторы – братья. В эпизоде с девочкой кажется, что речь вообще идёт об одном и том же, но Достоевский далее поворачивает вектор другой стороной: не в «под», а в «над». Для этого привлекается лермонтовский “движитель из горних”, и разворачивается фантазмагория в стиле Сведенборга-Фламариона. Среди публицистическо-педагогического разнотравья «Дневника писателя» появляется редкий образец духовной лирики, автопортретный финал которого заставляет выискивать такое же сходство и в начале, и злые языки приклеивают к «Федьке Каторжному» новый, свежеизготовленный подзаголовок: «гнусный петербуржец». Патетичность концовки произведения вынуждала чем-то уравновесить со знаком минус в экспозиции; и вот яркое словцо приклеилось к самому “изобретателю”. Но функцию отвлекающей внимание красной тряпки оно выполнило с лихвой: «смешной» до «шута» опущен не был. Хотя автору жёстко давали понять: для тех, для кого он *не* пророк, он всего лишь – “второе издание” Поприщина, и желали «скорейшего выздоровления».

«Я смешной человек. Они теперь называют меня сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я всё ещё не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной – и тогда даже чем-то особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, – не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут».

Из авторского “рога избытия” начинает сыпаться слово *смех-смешной-смеяться*, но Достоевский сразу намертво склеивает его со словом *истина*, создавая такой слоистый пирог: *с-и-с-и-с-и-с*, своего рода маленькую мессу си-минор (в параллель Баховской большой). «Одному знать истину» – камертон орденского братства: оно всё состоит из таких «одних». Двойное «не поймут» в конце с одной стороны напоминает знаменитое «*Не пой*, красави-

ца, при мне»; с другой – сам смешной выступает здесь как некий провокатор “поймут-баламут”, распространитель неких мутных помой.

«А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же – чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в неё углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моём смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший, что я смешон, то это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть пред кем бы то ни было позволил бы себя признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моём отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор, как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом всё больше и больше о моём ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно – это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде *всё равно*».¹

Только что пятнадцатикратным (включая заголовок) повторением Достоевский отработал слово «смешной», подводя нас к глубинам идеограммы Пятнадцатого аркана с концепцией «дьявольского смеха». Теперь он пересаживается на конька «всё равно», на всякий случай выделяя его курсивом. Везде он выстраивает близкие по значению, но контрастные пары: «свобода» и «своеволие», «равенство» и «уравниловка», «братство» и «братья Одним-мироммазовы». Ледяная сель энтропии и изливается из этого нового курсива.

«Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне *всё равно* было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что *ничего при мне не было*. Сначала мне всё казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на

¹ Курсив Достоевского.

людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: об чём мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было всё равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало *всё равно*, и вопросы все удалились».¹

Вспоминается: «пифагоровы штаны на все стороны равны». Та же «психология штанов» присуща и Раскольникову, и Ставрогину и другим импотентам души паноптикума Достоевского. Поэтому и общение с противоположным полом у них бывает в основном «бесконтактным». «Контактёры» Тоцкий и Самсонов описаны как «монстры общения», или, проще говоря, обкаканы. Мотыльковое размножение мечтателей делает и Петербург городом-призраком с натыкающимися друг на друга эфемерными прохожими. В Скотопригоньевске «Петербург» расположен на втором этаже трактира «Столичный город». Там же находится и «смотровая площадка истины» – над первым этажом, где царствует «ничего не было» (стерляжья ушица не в счёт).

«И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение моё помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, и тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шёл, и ото всего шёл какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому он всё это освещает».

Достоевский вертится вокруг мистики ноября с автопортретным 11/XI. «Одиннадцатый час» выполняет функцию даты (на всякий случай он повторяет слово дважды). Из всего этого становится ясно, что герой рассказа – «внутренний агент» самого автора. Достоевский берёт на себя ответственность за все его мысли и поступки, включая самые позорные.

«Я в тот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели ещё двое приятелей. Я всё молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чём-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было всё равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: “Господа, ведь вам, говорю, всё равно”. Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрёка, и просто

¹ Курсив Достоевского.

потому, что мне было всё равно. Они и увидели, что мне всё равно и им стало весело».

“Всёравно де Бержерак” веселит публику по причине полупустого желудка, а умиротворяющей ушицы тут не подают. Вот и выходит пассаж с “юмором в ноль градусов по Реомюру”. Голодный обморок смысла как всегда хозяйничает в *углах* и гнилых комнатушках Достоевского.

«Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно тёмное, но явно можно было различить разорванные облака, и между ними бездонные чёрные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звёздочку и стал пристально глядеть на неё. Это потому, что эта звёздочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твёрдо положено ещё два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он всё лежал в ящике; но мне было до того всё равно, что захотелось наконец улучшить минуту, когда будет не так всё равно, для чего так – не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я всё ждал минуты. И вот теперь эта звёздочка дала мне мысль, и я положил, что это будет *непрерывно* уже в эту ночь. А почему звёздочка дала мне мысль – не знаю».

«Звёздочка» появляется после восьмого «всё равно» – значит, речь идёт о *суде* и *справедливости*. В качестве Фемиды выступает сам Смешной, в качестве Немезиды – он же. Собственно, приговор уже вынесен, отложено только его исполнение. И как обычно: ни службы, ни занятий, ни семьи – полная никчёмность. Уход из жизни в этом случае – простой ассенизаторский акт, не вызывающий никаких эмоций, в том числе и у “виновника торжества”. Огнестрельное оружие персонажи Достоевского приобретают исключительно в целях самоубийства. Роковой выстрел раздаётся почти во всех романах Пятикнижья: в «Преступлении и наказании» это Свидригайлов, в «Идиоте» – Ипполит Терентьев, в «Бесах» – Кириллов, в «Подростке» – Крафт, и только в «Братьях Карамазовых» Митя так и не пускает пистолет в дело, хотя трёпа вокруг, как вони, было – не продыхнуть. И вот очередной самоубийца созревает, как Кириллов, “до кондиции”: «всёравнюк» ждёт прогала в свинцовых небесах бездарности. Звёздочка, проглянувшая в небесной черноте, подмигнула ему, мол, пора кончать. И Смешной заспешил домой к револьверу.

«И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно её мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дёргать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: “Мамоч-

ка! Мамочка!” Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дёргала меня, и в голосе её прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние».

Восьмёрка в «лет восьми» – это знак бесконечности лемниската, поставленная вертикально. Что значит: девочка в заговоре со звездой; они берут Смешного в нравственные клещи, с тем, чтобы он, человек, судя по всему, неплохой, вырулил в сторону преобразования от самоуничтожения, бездарного и пустого.

«Я знаю этот звук. Хоть она и недоговаривала слова, но я понял, что её мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошёл за ней, и, напротив, у меня явилось вдруг мысль прогнать её. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городского. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, всё бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на неё и крикнул. Она прокричала лишь: “Барин, барин!..” – но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему».

Всё последующее космическое путешествие нужно лишь для того, чтобы переиграть этот немотивированно бесчеловечный эпизод. С точки зрения мистики судьба девочки была послана Смешному во спасение, и он этот спасительный плот оттолкнул, бултыхаясь в пучине вод. Достоевский – апостол детей, и здесь он являет свой статус в полной мере. Но Смешного следовало бы прозвать с детства Скучным и Нудным; автор приладил павлиньи перья воробью, рыжий парик – полотёру.

«Я поднялся на мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеёнчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажгёт свечу и стал думать».

Пентаграмматический смысл «пятого этажа» не ускользает от нашего внимания: близость к Булгаковскому «пятому измерению» здесь самоочевидна. Но важный момент – «вольтеровское кресло»; садясь в него, герой превращается Микромегаса великого француза. Достоевский мечтал создать русского Кандида; это был подход к реализации замысла. “Миниатюрный гигант” начинает думать. За стеной шум и суетня пьяной компании. Смешной перебирает паноптикум соседей и заключает:

«... Но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, – мне всегда всё равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, – до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета и ничего не делаю. Книги читаю я только днём. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: “Так ли?”, и совершенно утвердительно

ответил себе: “Так”. То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько ещё просижу до тех пор за столом, – этого я не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка».

Действительно, такую никчемную жизнь и кончить не грешно. Не пускать же бесконечно вшей мыслей прыгать по вольтеровскому креслу и тупо изображать из себя псевдофилософа. Пора и честь знать. Да и пистолет надо опробовать. Рефреном через всю первую главу рассказа идёт противодаатное «не знаю-не знаю-не знал». О каком *знании* может идти речь, когда «познание и любовь – одно, и страдание – мера их». А здесь – ни любви, ни знания. Одно картавое «всё равно».

II

«Видите ли: хоть мне и было всё равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было ещё в жизни не всё равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребёнку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дёргала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уж решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то стало быть, мне всё на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, всё равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не всё равно и я жалею девочку? Я помню, что я её очень пожалел; до какой-то даже странной боли и совсем даже невероятной в моём положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолётного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда я уже засел за столом, и я очень был раздражён, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и ещё не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следовательно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас *совершенно* не буду существовать, стало быть, и ничего не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости девочки, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребёнка, что, “дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа всё угаснет”. Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убеждён в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для

меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет моё сознание, угаснет тотчас как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упряднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди – я-то сам один и есть. Помню, что, сидя и рассуждая, я обёртывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уже новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение...»

Вся эта мозговая пена мозгляка и ничтожества, лопающаяся четырьмя нулями – далее они обернутся палиндромными лунами, пузырится вокруг детской угрозы: «сейчас я тебя исчезну!», подразумевающей закрывание глаз. Пустопорожность всего этого онанизма самоочевидна и совсем не смешна – Достоевский обманул нас заголовком.

«... Что если б я жил прежде на Луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамной или бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, – было бы мне *всё равно* или нет? Ощутил ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что *это* будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел».¹

От собственного убожества и бездарности спастись невозможно. Ничего кроме «праздного и лишнего» не может источиться из существа, имя которому *пустопорожность*. Решить поставленные вопросы невозможно, ибо они тут же опадают, превращаясь в слякоть. Единственный твёрдый предмет – револьвер – тоже «лежит», всё не обнаруживая своих «дорогих» качеств. Солирует дешёвка праздномыслия, импотенция и инфантилизм. Восьмилетняя девочка оказалась единственным серьёзным и взрослым во всём этом картонном кукольном театре. Не Поля ли из «Преступления и наказания» это была?

Соседи угомонились. «Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремится на рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассу-

¹ Курсив Достоевского.

док во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во всё продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мёртвый, а всё-таки тут подле меня и со мной хлопчет? Почему разум мой совершенно допускает всё это?»

Маленький трактат о сне Достоевского принципиально важен высказанным в нём соображением о безинерционном продлении в этом состоянии *пространства* и *времени*, т.е. об *иных* законах физики для внетелесных путешествий. Если на земле «настоящее» есть «только миг между прошлым и будущим», то в надземном есть только одно настоящее с точками схода *до* и *после*, которые есть одна единственная точка – центр сферы Вселенной, «который везде, тогда как поверхность его – нигде», по определению метафизиков. То, что Достоевский делится своим собственным опытом, видно из того, что упомянутый «умерший пять (ещё одна – после «пятого этажа» пентаграмма звезда, которая является *ключевым* словом для всего произведения) лет назад брат» это его брат Михаил, с которым у писателя действительно были общие дела издательского рода, посмертное участие в которых и описано. Тогда как у бездельника Смешного не предполагается по никчёмности ни родственников, ни близких: при предполагаемом уходе из жизни «их» интересы абсолютно не учитываются. Обнулённый по сю сторону бытия, персонаж легко («налегке») мигрирует по ту его сторону, и можно только удивляться, почему этого не случилось ежедневно (еженощно). Нужна была навязанная «герою» бессонница, чтобы отделить его от цепи «мечтателей», которая образовалась в творчестве автора. Пуля – это жирная точка в конце их худосочного, призрачного, эфемерного бытия. Но здесь, в этом кукольном мире, смерть не трагедия, а просто «конец», последнее слово в титрах кинофильма, «*finita la commedia*» оперы «Паяцы». Пуля в конце *комедии* или, лучше сказать, «скверного анекдота» – таков концепт Достоевского. Трудно придумать что-нибудь более противоположное его собственной насыщенной под завязку, трудовой, осмысленной и *нужной* всем жизни. Но он манипулирует марионетками, и мы, дивясь серьёзности и глубине разыгрываемых мистерий, не предъявляем к ним требований всамделишного человека. Театр есть театр, и рампа является демаркацией двух *разных* реальностей. Пуля в пистолете «бумажного персонажа» – не более, чем знак препинания. Безусловность содержания не лишает нас приятности постоянно ощущать холодок условности его формы. То, что Буратино «деревянный-предеревянный», не мешает нам благоговейно внимать произносимым при его посредстве сентенциям папы Карло.

«Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не всё равно, сон или нет, если этот сон возвестил

мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел её, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живёте. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, – о, он возвестил мне новую, великую, обновлённую, сильную жизнь!

Слушайте».

Так заканчивается прелюдия к изложению самого происшествия. И вновь Достоевский-криптограф поражает наше воображение. Появляется последнее «всё равно» – и какому аркану оно, как вы думаете, соответствует? Правильно, Семнадцатому, аркану *Звезда*. Въезжая в монотонность, Достоевский упорно стремится к этой «звезде» – и дожал, дотянулся, достигнул. После этого «всё равно» его больше не интересует, оно “выброшено в окно” и забыто. – «Мавр сделал своё дело». (Любопытно, что коллективный «Шекспир» не подумал о том, что “забавно” звучит это мотто в применении к его собственному «Отелло».) Но этого мало. “Отрабатывая” восемь лет девочки-судьбы *восьмикратно* в этих двух вступительных главах появляется **самое главное** слово жизни всей Достоевского: «истина», вырастающая до Истины с большой буквы, то есть до самого Христа. Христоробец Достоевский заявляет о себе в этом смысле без обиняков и недвусмысленно. «Иду на вы!» – объявляет он всем циникам и пессимистам. Он выстрадал право на такое заявление. Так же, как и его герой.

III

«Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжал рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце – в сердце, а не в голову; я же положил прежде непременно застрелиться в голову и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил».

Смешной проявил жестокосердие к ребёнку и наказывает виновника, – мозг выступает судьёй и экзекутором. В тексте перемена места нанесения смертельного удара никак не мотивирована.

«Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибётесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснётесь. Так и во сне моём: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим всё во мне сотряслось и всё вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чём-то твёрдом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, – и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чув-

ствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору».

Три стадии алхимической обработки начинаются с *Нигредо* – прокаливания и выжигания из подвергаемого изменениям всего постороннегорючего. Это и происходит с псевдосамоубийцей. Он вышел (в логике сна) за пределы свободы воли, отпущенной человеку на земле, он превратился в пассивное *вещество*, с которым нечто происходит. Мистерия смерти повторяет мистерии эзотерических посвящений, но уже без свободы выбора (хотя она на земле весьма относительна). Целевой задачей алхимической обработки является *улучшение* структуры обрабатываемого, но никогда не ухудшение. Но иногда “набитость опилками” приводит к полному выгоранию помещаемого в атанор: *зола* следствие *зла*, – и всё вещество уходит в шлак. Всякое посвящение – экзаменация и проводится под патронажем *Ведомства справедливости*. Первая его стадия – «выведение на чистую воду», что и происходит.

«И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилкой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал.

Я лежал и, странно, – ничего не ждал, без спору принимая, что мёртвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, – час или несколько дней, или много дней».

Для человека массового, а персонаж рассказа именно таков, остаться «совсем одному» – катастрофа; они живут жизнью стада, и за его пределами жизнь для них кончается. Теряются все ориентиры, цели и нормативы; навигаторская система мгновенно отказывает. Начинается оксюморон: *беспомощность могилы*.

«Но вот вдруг на левый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, так далее, и так далее, всё через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моём, и вдруг я почувствовал в нём физическую боль: “Это рана моя, – подумал я, – это выстрел, там пуля...” А капля всё капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною:

– Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозвожь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство моё – безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни

постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжении миллионов лет мучительства!..

Я воззвал и смолк».

Начинается игра на пограничье физического и метафизического: *движение мысли* при этом при этом полагается действием *метафизическим*, не подверженным лимитированию законами земной физики. Любопытна связь сюжета сна с легендами о захоронении живого Гоголя (в состоянии летаргии), истоком чего послужили его собственные опасения, высказанные в завещании. Правда рабскому дребезгу Николая-Нидворая противопоставляется дерзкий бунт новоявленного Квадриллионыча с угрозами (!), ещё более «неразумными», чем само самоубийство. Бредово предполагается, что сознание ничтожества не угаснет в течение «миллионов лет» и, изъеденный червями в первую сотню, он не превратится в труху. Забавно сослагательное «если есть», особенно в варианте отсутствия отклика на «воззвание». В смысле: *есть, но не про вашу честь*. Пушкинское «храните гордое презренье» выворачивается наизнанку, превращаясь в фарс под издевательскую монотонность известной китайской казни. Чтобы не чувствовать «физическую боль» в метафизическом пространстве надо чувствовать *метафизическую боль* в физическом пространстве здесь на земле. Быть нравственным бревном предосудительно и наказуемо. И хоть помещение, где находится «презрительный» наш (превизуальный), описывается как изба: «крыша» вместо *крышки гроба*, но *избавления* это никакого не сулит, и жалкий умозрительный писк *de profundis* с нелепыми угрозами комичнее чертыхания червя. Однако патетичное «воззвал» даёт возможность продолжить повествование. На нуле горячего, в том числе и горячих слёз.

«Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и далее ещё одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас всё изменится».

Вот где настоящая фантастика, вот где будущий Станиславский захлебнулся бы в своём «не верю!»: «беспредельно и нерушимо» Смешного воистину юродство и юмор – и даже *тройное дабл ю* “интернетути”. Ну что ж, к Непременнычу высылается Коровьев с наставлением: «Лети и всё устрой».

«И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то тёмным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и как тогда, никогда ещё не было такой темноты!»

Нелепость «светлым и известным мне» не обсуждается. Патологоанатомам позволено работать в тёмных халатах и передниках. Речь идёт о зоне душ «тёмных» людей, о их перегное и чернозёме, откуда и взят «вдруг прозревший» презритель.

«Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нёс меня, ни о чём, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и

замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось всё так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидел в темноте одну звёздочку. “Это Сириус?” – спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чём спрашивать. – “Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой”, – отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение».

Псевдотрансценденция описываемого здесь выявлена в полной мере: «внутренний Вася» топорно имитирует ангела-хранителя («как бы») многозначительно подмигивая «как бы ликом человеческим» по поводу интимных сведений о звезде. Устав от бессмысленного себя, Смешной целился именно во «внутреннего Васю», отвечающего за смехотворность его «как бы человеческого» лица. Какая уж тут любовь! «Глубокое отвращение» – вот тот бульон, внутри которого происходит вся эта зародышевая драма. Брезгливая ненависть “нанайских близнецов” друг к другу господствует внутри этой сцепившейся пары. За что Васе любить этого как-бы человека? Но сам эпизод является пародией на Лермонтовского «Демона» в месте препирательства «она моя», превращающая романтическую напыщенность в базарный натуралистический фарс. Не хватает только шипенья: «Не прижимайся ко мне, от тебя дурно пахнет» среди этих двух «как бы».

Но насчёт Сириуса Достоевский подпустил очень тонко, сразу всколыхнув пласт всей древнеегипетской культуры с эзотерическим преданием о происхождении земной цивилизации от сирианской. Правда, ответ «нет» опускает встрепенувшуюся было мыслишку назад в зону смешного, анекдотичного и пародийного.

«Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое *есть*, существует: “А, стало быть, есть и за гробом жизнь!” – подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: “И если надо *быть* снова, – подумал я, – и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!” – “Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня”, – сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унижительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моём унижение моё. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель, не известную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моём сердце.

Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы пронизало меня».¹

Возносить ввысь атеиста это значит воистину *унижать* его. Поднимать его к горнему – прямо таки грубо по-тюремному *опускать* насилием, причём сопротивление бесполезно. Свобода воли кончилась там, на земле. Здесь только воля «Ктобытынибыла», – жалкие распашонки своеволия содраны как карнавальные костюмы, растаяли как посюсторонний маскарад команды Вольанда. Остаётся одно хлестаковское легкомыслие сна и трусливое «я тебя боюсь» Макара Девушкина, лишённого невинности в грубой форме. Прозекторское равнодушие транспортировщика всеу ободрило квазисамоубийцу: перемещение часто бывает «переменной мест слагаемых» – и не более. Хотя его сосредоточенная деловитость пугает хронического бездельника и никчемшника. Он убрал своей волей этот мусор с земли – и мусор оказался по ту сторону бытия, где, “оказывается” тоже *есть* жизнь! Есть от чего прийти в *страх и трепет!*

«Мы неслись в тёмных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звёзды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей моё сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть *наше* солнце, породившее *нашу* землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моём сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы».

Тавтология – удел бездарностей, второгодничество – их стихия, в ней они – как рыба в воде. Пушкинская «тоска» придана Митрофанушке, которому только приснилось, что он застрелился. Как он был на поруках кого-то, кто снабжал его деньгами, так он на поруках и остался. Он радуется возможности переиграть жизнь, потому что первая полностью пошла в утиль. Но разве *наше* солнце вставляло ему в руку револьвер, которым он поставил пулю-точку в слове «идиот» (а вместе с ним в руку Свидригайлова, Кириллова, Крафта)? *Чему обрадовался сдуру?* Надо ещё, чтобы солнце обрадовалось тебе по прибытии. А тут... Чем он обрадовал дальний уголок вселенной, куда был доставлен как мусор на утилизацию?

¹ Курсив Достоевского.

« – Но если это – солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, – вскричал я, – то где же земля? – И мой спутник указал мне на звёздочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

– И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. – вскричал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

– Увидишь всё, – ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове».

Не забудем, что вся эта лирика обращена одним из «самых неблагодарных» к существу, которое вызывает в нём «отвращение». Что, кроме печали, может чувствовать оно в ответ? Ему поручено возиться с этим уродом, скорей всего «нести на своей груди», как Христос разбойника благоразумного в рай. «Несчастливая и бедная» на самом деле «богата и обильна» и только в глазах таких скудоумных пустоцветов может обрастать такими убогими характеристиками. «Изумрудный блеск» её подобен блеску Изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста, и его-то более всего и напоминает своей скромной целеустремлённостью «отвратительный» транспортировщик. Печаль его вызвана ещё и тем, что он понимает, что подкладывает изумрудной планете свинью.

«Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моём: “Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце моё погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил её *мучительнее*, чем когда-либо. Есть ли *мучение* на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с *мучением* и только через *мучение*! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу *мучения*, чтоб любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливать слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..”»¹

Пафосная риторика Смешного, с ядовитым достоевским «может быть», воистину смехотворна своими мазохистскими пародийными вывертами насчёт «мучения» («Му-му» Достоевского), оформленными в звёздчатую пентаграмму; и кончается она юродским Пушкинским:

¹ Курсив мой. – ОК.

*Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров –
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала – и стала кушать.*

«Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на побережье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, всё было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством.

(Мы вновь оказались внутри картины Лоррена «Асис и Галатей», которая ассоциировалась у Достоевского с Золотым веком. Он постоянно возвращался к этому светлому видению – вспомним хотя бы сон Версилова – и теперь решил сделать из своей идеи фикс целый рассказ. «Греческий архипелаг» выдаёт умысел и замысел. Возможно путешествия во времени выглядят как перелёты сквозь огромные пространства; так посвящаемого с завязанными глазами водили вокруг да около дома и приводили в соседнюю комнату, давая понять, что он проделал долгую дорогу к цели. То, что перед нами развёрнутая картина посвящения, не вызывает ни малейшего сомнения; все элементы налицо: смерть, трудный пилигримаж постмортем, преобразование по ходу дела и возрождение из пепла старого человека по типу феникса.)

Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесконечные листочки их, я убеждён в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, – о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке.

(Этой приторной олеографией Достоевский вновь пародирует «Гюргенева» Стихотворений в прозе с паточным «я благоговел, и благоговя...», создавая своё «Мерси номер два». При этом он не теряет внутреннего серьёза ни в теме посвящения, ни в большой симфонической идиллии – по типу Вагнеровского «Зигфрида» – «Золотой век».)

Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдалённый, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих

счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял всё, всё! Это была земля, не осквернённая грехопадением, на ней жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не спрашивали меня ни о чём, но как бы всё уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего».¹

Успокоить покойника – это юмористический “прокол” Достоевского, под пером которого рассказчик уже съёл несколько яиц-овалов «О!», – просто курочка-ряба какая-то! Между тем философствование на тему «грехопадения» скользит *над* острыми углами проблем и вопросов, не решая их, а танцевально их обходя. Вот несколько, актуальных и по сегодня.

Человека преследуют три требы: голод, холод и размножение. Положим, что люди тогда питались только растительной пищей и что её *без труда* хватало на всех. Но – год хватало, два хватало, а потом – неурожай, засуха, пожар, случающийся в природе, наводнение или другой природный катаклизм – и вот уже пищи на всех не хватает, и инстинкт выживания заставляет вступить из-за неё в конкурентную борьбу.

Дальше. Положим, что климат там повсеместно был тёплый и можно было на «Греческом архипелаге» расслабиться в “дольче фуорниенте”. Но вот: изменение климата, холода, наконец оледенение, люди уходят в пещеры, разводят огонь, за возможность греться у него и за место в пещере опять-таки начинается конкурентная борьба из-за того же инстинкта.

Но всё это меркнет перед третьей требой: продлением рода. Биос существует путём выбраковки слабых и немощных, то есть *нежизнеспособных*, размножение которых привело бы к дегенерации вида и его исчезновению. Борьба за самку заложена в основе творения живых существ, а разница при “изготовлении” особей приводит к появлению *сортности* – и начинается борьба за лучшее. В логике идиллии «Золотого века» “безгрешность” первобытных племён, которые живут просто как один из биологических видов, описанная конкретно, ужасает нравственное чувство цивилизованного человека. Общность “жён” и детей, избавление от немощных и больных (иногда методом принудительного суицида) – как это увязать с «христианской нравственностью» и пуританским чистоплюйством, сотворившим миф о «грехопадении»? Детёныши хищников мирно играют с детёнышами травоядных на «площадке молодняка» в зоопарке потому, что где-то их матери дерут матерей этих травоядных и, напившись их мясом, вырабатывают “мирное” мо-

¹ Вставки в скобках мои. – ОК.

локо, которым питаются в часы кормления их такие ещё “добродушные” дети. Но вот они подрастают, и матери их начинают обучать охоте на тех, с кем они до того так мирно играли. Где здесь “грехопадение”? Зебры жмутся к своему львиному прайду, тщательно пересчитывая “убийц” по утрам, ибо только наличие выбраковщиков рядом гарантирует здоровье популяции. Кто здесь “хороший”, кто здесь “плохой”? Все живые существа включены в пищевые цепочки – таков замысел Творца. Приход Христа с *милосердием* к “братьям меньшим”, к немощным и больным является стартом сворачивания земной цивилизации, медленного *конца света* за счёт общей биологической дегенерации рода человеческого. Доминанция силы уступает место доминанции разума, но разум должен оттачивать себя, а для этого нужен оселок, о который это можно производить. Вот почему «зло на земле неуничтожимо, ибо борьба с ним это и есть жизнь». И львов и зебр сотворил один и тот же добрый, благой Бог. И всё-таки путь в сторону ангеличности неизбежен. Собственно, «быть человеческим» и значит быть *ангеличнее* фона. Но в основном ангеличность (тотальная) моделируется в умозрительном пространстве как идеалистические идиллии, светлые ориентиры, необходимые для нравственного здоровья вида «человек прямоходящий». *Кривые пути* ему противопказаны. Это и хочет сказать Достоевский, громыхая допустимой цензурой лексикой того времени.

IV

«Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные.

(Над «гнусным петербуржцем» критика конечно поиздевалась вволю, хотя в целом рассказ остался почти незамеченным. Всё-таки, надо признать, он слишком пахнет публицистикой и напоминает упражнение в стиле Фламарiona, уместное только на страницах журнала. «Гнусный петербуржец» как раз и отличает опус Достоевского от французского оригинала.)

Они не желали ничего и были спокойные, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать её, потому что жизнь их была восполнена.

(Все эти буддийские добродетели напоминают более сектантство, чем избранничество с принципиальным Пушкинским: «Нас *мало* избранных». Но

потому петербуржец и *гнусный*, что не понимает этого важного отличия. «Не все» – именно это отделяет *религию Христа* от «христианства».)

Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать её, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания.

(Здесь одна важная тонкость: «познание и любовь – одно» – вот закон человеческого богоподобия и земного бытия. Даже акт любви называется в Библии «познанием»: «... и вошёл Авраам к Саре и познал её...») Понимание есть высшая доброта, а *богопознание* и есть выражение *любви к Творцу*... Только животные без всякой науки знают, как им жить: это знание заложено в генокоде. Обратите внимание на отсутствие культуры у этих маниловских пейзажей, на полное отсутствие труда, *в том числе и творческого*, а ведь именно труд *создал и занял* человека – при том, что Бог его сотворил. «Научить других» совсем не главное, – главное *самопознание*, и это – *фундамент бытия*.)

Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убеждён, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу – на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побеждённые их же любовью.

(Характерно отсутствие «пищевых цепочек» в этом умозрительном рае: нет хищников и травоядных; а между тем львы любят антилоп в качестве пищи, а антилопы львов в качестве санитаров вида. *Этот* вид любви отсутствует на бесполой *планете простейших*; отсутствие *познания через страдание* не выработало в них иммунитета ко злу, да и сам «козёл» ещё не прибыл на эту планету-полуфабрикат, в этот детскомолодняковый рай. Впрочем – нет, уже прибыл.)

Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чём-то, чего я не мог понять, но я убеждён, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звёздами, не мыслю только, а каким-то живым путём. О, эти люди не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле.

(Интересно, на каком языке «говорили они со мною» – речь идёт об общении, а не просто подаче звуковых сигналов; но хитрый Достоевский фразой «чего я не мог понять» страхует себя от подобного вопроса; мол, не философской глубины высказываний *не мог понять*, а самого языка. Но говорить, не добиваясь, чтобы тебя поняли – это уже аутизм и попахивает Поприщинным, раздающим по прыщу на брата, для придания этим гомункулам индивидуальности. Но на «говорил им» Фёдор Михайлович всё же прокалы-

вается. Тем более, что среди «звёзд», с которыми они общались «каким-то живым путём», должна была бы быть и Земля.)

Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами.

(Вот он, тот акт отступничества копчиком вверх – пародия на будущий поцелуй Алёши Карамазова по сценарию отца Зосимы. Всё тут гуттаперчевое: жизнь без познания, поцелуи без совокупления, целование земли без мысли об её обработке. «Мечтатели» Достоевского – это Маниловские бесполые детища, которые, как сорняки, расползлись по всему свету – и за его пределами, и более того: живут стадами и даже целыми планетами.)

Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своём, какую силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, всё время, не оскорбить такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались лёгкою пищею, плодами своих деревьев, мёдом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка.

(Вот он, ловленный мизер всей этой «ахинеи»: Пушкинское «коснуться до всего слегка» превращается в принцип, и *легковесность* всей этой халабуды становится самоочевидной. Планетяне зацелованной вдрызг пролетанцем планеты не имеют *цели* существования; они перерабатывают «лёгкую пищу» на столь же лёгкий навоз, не имеют интереса в улучшении качества одежды и жилищ – которые осторожным Достоевским вообще не упоминаются – во избежание проявления в неравенстве талантов и возможностей, ибо нельзя создавать прекрасное, касаясь до всего слегка и «трудясь лишь немного». Не говоря уж о том, что труд для существа разумного является потребностью, а отнюдь не тяжёлой обязанностью как намекает – сам трудоголик – Достоевский.)

У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того *жестокого* сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью.

(Достоевский благоразумно не уточняет, не было ли там «перекрёстного опыления» по принципу «каждый с каждым», когда конкретность отцовства аннулируется или дезавуируется под “вялотекущее” понимание мужского

пола как «коллективного поставщика». То, что описываемое – муравейник, не подлежит ни малейшему сомнению, тем более автор подпустил сказочное «мурава» в начале описания планеты).

У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окружённые прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слёз при этом я не видал, а была лишь умножавшаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались ещё с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертью.

(И опять “почтительное” «почти» затемняет вопрос о страдании во время болезни, особенно болезни тяжёлой, о страдании от травм, о чём вообще умалчивается. Все умирания описываются как “схождения на нет” – безгрешных седых ангелов и ангелиц – «а на нет и суда нет», то есть Грозный Судия там отменён в принципе. Но на счёт «людей» Достоевский разоблачил себя полностью – секретность его отвалилась сама собой, а туман рассеялся. Общение с Данте без книги, им написанной, а нами читаемой – только как с одним из «поставщиков» – бред и нелепость.)

Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчётно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твёрдое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них и для живущих и для умерших, ещё большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нём, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу.

(Вот оно, из-за чего и для чего всё было написано. «Религия Целого вселенной» столь же замечательна и оригинальна как и созданный ранее «Орден чести» – высшее достижение Достоевского – мыслителя и эзотерика. На английском понятие особенно выразительно: от *подпольного* – hole [-and-corner] – человека – к человеку религии *Whole Universe* – таков вектор мысли Русского Пророка. В это понятие “упаковываются” – и там *упокоятся* – все земные религии и религии других обитателей жизни. Христос высказал концептуальное: «В доме Моего Отца обителей много». Развив эту мысль, Джордано Бруно написал трактат «О множестве обитаемых миров» – за что и поплатился жизнью, как это ни дико сказать. Христос с Его революционными, скандальными, «еретическими» мыслями всегда был главным врагом лидеров “христианства” – правильнее: «павлианства», и Его адепт и верный последователь был подвергнут «сатанами в сутанах» тому, что предназначалось Самому Учителю: *сожжению*. Великий Инквизитор выскажет эту резолюцию прямо и жёстко, без обиняков. В России то же самое проделали православные

держиморды с великим Квирином Кульманом, в Швейцарии – с Серветом. Но каждый раз в их лице сжигался главный ненавистник «Кабалы святош» – **Иисус из Назарета**. Вот почему чистая душа Достоевского просила по-некрасовски: «Назови мне такую обитель!..», но *ближе дальней звезды* не нашла. Главари *человечества массового* борются с лидерами *штучников* насмерть. Но – «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Поэтому палачи доживали свои жизни, побеждённые их жертвами. В этом причина безумия Сальери. Моцарты свободно вплывают в бессмертие, унося, как пятна грязи на плаще, имена костоправов и отравителей. «Адрес отравителя» известен: это глухой камень церковных казематов, это железобетон их непробиваемых душ, в которых штучнику-херувиму всегда *душно*... Вперёд, туда, в вольный воздух Вселенной!)

По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славил его и прощались с ним. Они славил природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и пронизали сердца.

(Вообще-то дети крайне ревнивы и амбициозны. Вот разговор: «Мне сам папа сказал! – А мне сама мама! – А папа самее мамы!») Но «хоры» нужны Достоевскому для называния бога солнца Гора, с которым всё Новое время отождествляется Христос.)

Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюблённость друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во всё их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце моё как бы проникалось им безотчётно и всё более и более. Я часто говорил им, что я всё это давно уже предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне ещё на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слёз... Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их?

(Неисправимый фурыерист Достоевский всё бредит фаланстерами и общинами присноблаженных, будущих «людей-цветов». Он уже смёл все языковые барьеры. Подзапутавшись в ненависти-любви и любви-ненависти и оставив это до финального разговора Мити Карамазова с Катериной Ивановной, Достоевский кое-как вырывает к созерцанию закатов, который и изображён в «Асисе и Галатее» Клода Лоррена. Но полная бесконфликтность по-

пахивает кладбищем и всеобщим аутизмом этого “маниловского королевства”, среди которого оказался единственный живой, т.е. страдающий, да и тот «гнусный петербуржец». Гнусность против марионеточности, *жизнь* против *существования в меду «золотого века»* – вот предмет исследования рассказчика.)

Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и моё сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

(Поразительно: мир бездельников Достоевского доведён до пароксизма – не описано *ни одного действия*, в котором бы участвовал новоприбывший, никаких грандиозных деяний творчества, в которых были бы заняты инопланетяне, а между тем говорится о полноте жизни! Любовной истории на худой конец. Беспольные радости тунеядца обернулись оперным апофеозом ничегонеделания, патетикой сусального столбняка. «Молча молился» пока они «целовали и ласкали меня» – и так без перерыва целыми днями; он не ел и не отвлекался по нужде, как в балетном па-де-де в спектакле, длящемся без перерыва.)

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моём я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порождённое моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, – боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье!

(Обратите внимание: здесь описывается финал деятельности новоявленного пророка. «Все» здесь так же неопределённо и аморфно, как и стада инопланетян до того.)

О да, конечно, я был побеждён лишь одним ощущением того сна, и оно только одно целело в до крови раненном сердце моём: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стусеваться в уме моём, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принуждён был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моём поскорее и хоть сколько-нибудь их переделать. Но зато как же мне не верить, что всё это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но всё это не могло не быть.

(Сначала навывлет простреленное сердце Смешного оказалось только «до крови раненным», и он умиляется картинам видения, объективируя свой сон до реальности, то есть не считая его собственным произведением. За счёт фирменного «стусшеваться» Достоевский вновь автопортретно мелькнул в тексте рассказа.)

Знаете ли, я скажу вам секрет: всё это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце моё, но разве одно сердце моё в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я её один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце моё и капризный, ничтожный ум мой могли выисаться до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех!»

Ясное дело, что Федька Каторжный должен был «поломать всю эту халабуду пополам», ибо невозможно было выдержать, чтобы в описываемом ангеличном и мелкотравчатом раю ничего не случилось. «Хвастун и лжец» источал из себя миазмы этих качеств, а сопротивляемость аборигенов негативу, которого они не нюхали, оказалась нулевой. Без всякого злого умысла с его стороны, пришлец послужил источником сначала “полураспада”, а потом и окончательного разложения инопланетян. «Затерянный мир» скурвился в одночасье на глазах «гносного петербуржца», который и там хотел застрелиться, но оказалось, что нечем.

V

«Да, да, кончилось тем, что я развратил из всех! Как это могло совершиться – не знаю, но помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Зная только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи.

(Выяснилось, что их чисто сигнальная бормотуха до того была «правдой», хотя такого понятия они прежде не знали. Только с рождением поэзии люди начинают соображать, что перед тем они говорили *прозой*. А как же преувеличенные комплименты друг другу до появления пришельца, как же с желанием понравиться данной самке и соловьиное воспевание её за пределами реальности? Токующие глухари все «атомарны» – кстати: почему «атом», а не «бацилла»? – да и новоявленного не назвали «гносным», как следовало бы делать, и не лобызать, предварительно не протерев спиртом. Поскольку они болели, значит у них были свои местные «атомы» и «трихины»... Или это были “благие” трихины, “пониженной ядовитости”? В белых воротнич-

ках, вежливо стучащие с вопросом: Можно ли войти? Достоевский растревожил осиное гнездо.)

О, это, может быть началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность – жестокость...

(Вообще-то говоря, сладострастие рождается не из лжи, а из тяготения к противоположному полу, заложенному в живые существа при творении. Угасание этого чувства привело бы к вымиранию популяций; борьба за самку приводит к конфликтам даже среди настоящих животных, а не иконописных, лишённых половых органов из вящей благообразности. Достоевского мучила проблема меры, но *чрезмерность* – обычное свойство дикарей, что может быть противно вкусу даже и не «гносных петербуржцев». Но, ужаленный в сердце Пушкинской Клеопатрой и настрадавшись от Аполлинаруи Суловой, Достоевский всю жизнь не мог успокоиться, и «сладострастное насекомое» было его наваждением и главным врагом.)

О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться.

(Первая кровь должна была брызнуть в первую брачную ночь первого человека и затем ежемесячно подтверждаться женским организмом. Поповское «без истления» пахивает импотенцией и извращением; Творец создал механизм размножения, который грешно подвергать критике.)

Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упрёки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель.

(Отсутствие половых органов на изображениях живых существ на иконах как раз и свидетельствует об этом. Замазывание гениталий на «Страшном суде» Микеланджело было осуществлено именно церковниками с их от «трихин» идущим миропониманием.)

Родилось понятие чести, и в каждом союзе поднялось своё знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за моё и твоё.

(Кто «удалился в леса»? – Лошади? Коровы? Овцы? Собаки? Кошки? Или домашними были медведи? Риторика подминает под себя смыслы, делая рассказ абстрактным, смещаясь в условность и речевой произвол. Но Достоевский подводит к главному: возникновению религиозной розни и конфессиональной междуусобице. Для него это очень важно.)

Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить её, а для обеспечения кодексов поставили гильотину.

(Достоевский впадает в излюбленный им *гойеск* и впадает в памфлетность, характерную для языка «Дневника писателя». Здесь его творчество смыкается с гротесками Домье, творимыми в то же самое время. К этой же стилистике примыкает поэзия Беранже, Гейне и нашего Некрасова.)

Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети, обоготовили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же “желанию”, в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? – то они наверно бы отказались.

(То есть: «Господи, прими меня в рай Твой!.. но только не сегодня». Отсутствие идеи Творца и видения Планетарного Логоса-и-Сатанаила очень характерны для этих безрелигиозных религий, этих *зеркал в окладах в виде икон*. Невозможно молиться безличностному божеству – это всё равно, что разговаривать с камнем. В ядовитом описании Достоевского нет ничего, *стоящего за*, это беличье колесо атеизма, превращённое в “лестницу вверх”. Конкретные мозги Достоевского издеваются над мечтательностью и одновременно обожают её: «люблю как душу, трясусь как грушу, пишу не трушу».)

Они отвечали мне: “Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы *знаем* это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердный Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем.

(Вот, вот именно: «Имени которого мы не знаем», Безымянность есть нуль информации, так же как догадка – нуль открытия. Нужно *приоткрыть* дверь, чтобы рассуждения о том, что за ней, получили *предмет разговора*. Никакого отношения к Грозному Судье христианства упомянутый «Судья» не имеет. Надо всегда помнить, что милосердие к преступнику есть надругательство над жертвой и развращение общества. Точка.)

Но у нас есть наука, и через неё мы отыщем вновь истину, но примем её уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья”.

(Достоевский менторски ехидничает – и зря: обладание удочкой с наживкой важнее обладания рыбиной, как бы велика она ни была, это элементарно. Идиотизм может быть принят за счастье; “сознание жизни” отли-

чает её от существования. «Мы будем петь и смеяться как дети» – именно таков идеал счастья «человека роящегося» и *modus operandi* тоталитаризма. Стоило, пища в кормушке и крыша над головой – и “головастик” засыпает счастливым. «Иногда, чтобы погубить человека, надо всего лишь исполнить его желания». Нет, нет, Фёдор Михайлович занимается мазохизмом.)

Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унижить и умалить её в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить ещё слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда.

(И рабство и праведники причём явились “из одного и того же места”, а до того, за кулисами, мирно выпивали в буфете, добродушно беседуя.)

Над ними смеялись или побивали их камнями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твёрдо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, “премудрые” стремились поскорее истребить всех “непремудрых” и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству её.

(Эгоизм – животное чувство и значит вставлено в биос при Творении. Выживание особи возможно только при его наличии. Но в мир живых вставлен ещё инстинкт борьбы насмерть за сохранение потомства, когда оно малочисленно. Это чувство стоит над эгоизмом; если это возможно сделать только сообща, то особи объединяются в отстаивании своей территории, «места под солнцем». На антропном уровне коллективный эгоизм заставляет сохранять “простейших” для подобных нужд, а не уничтожать как инакомыслящих. Шпильки Достоевского направлены против культа и религиозных войн.)

Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всё или ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось – к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве.

(Это о буддизме и его разновидностях, завладевших Востоком. «Всё же или ничего» требовали великие «завоеватели мира»: Дарии, Камбизы, Александры, Киры, Алларихи, Чингиз-ханы, Тамерланы. Но она – от биологической борьбы за выживание, а не от райских куш олеографий.)

Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, ещё больше, чем прежде, когда на лицах их ещё не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их осквернённую ими землю ещё больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их.

(Всё это очень автопортретно, тем более, что всё более сползает к известной эзотерической формуле: «Познание и любовь – одно, и страдание – мера их». Но в «полюбил осквернённую ещё больше» заключена ловушка, ибо психология эта открывает простор для деятельности негодяев всех калибров. Оскверняя землю и ближних, получается, они придают ей большую красоту. Пыточная камера приравнивается к салону красоты, а Христос без креста становится невоспринимаем. Разъединяющее сладострастие мазохизма открывает двери садизму и изуверству, узаконивая их в этическом смысле. Мизер должен быть ловленным, чтобы сделаться предметом интереса. Драматургия паразитирует на человеческих несчастьях. Читательское внимание привлекают только *кровь* и *любовь*, желательно в виде “бутерброда”. И творчество великих принуждено плавать в кровавой ванне, чтобы быть адекватным и потрясать. Идиллии – только салфетки, которыми людоед вытирает рот после сытного и обильного обеда.)

Я простираю к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что всё это сделал я, я один, что это я им принёс разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтобы они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест.

(Вся человеческая этика балансирует на запретах того, *что возможно*; вся человеческая культура основана на осмыслении *нарушений* запретов и красочном описании *результатов* этих нарушений. Теперь о деле. Дебилы, которых надо *учить, как сделать крест*, недостойны жалости. Распирать же интересно только невинных, и просьбы Смешного о распятии (ключевое слово всей орфоэпии Достоевского: 1, раз – 5, пять) являются наглостью и хамством, бесчинством *разночинца*.)

Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли.

(Мазохист Мазохистыч какой-то просто, Захер и дед Мазай; а на самом деле Маленький Мук, размечтавшийся о больших. Это называется «синдром Пипина Короткого».)

Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что всё то, что есть теперь, не могло не быть.

(Это «не могло не быть» – приговор Феды Катержного светлым мечтам перед «Асисом и Галатеей» рыцаря Теодора, а заодно и всему богословию Рая.)

Наконец они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце моё стеснилось и я почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся.

(Странно, что он не стал их учить строить сумасшедший дом, или крикливость и надоедливость уже стала наркоманией? «Лишний человек» как комический персонаж – вот тема Достоевского).

«Было уже утро, то есть ещё не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей; никогда ещё не засыпал я, например, так в моих креслах.

(Первый слог, издевательски “роднящий” «кресло» и «крестом» холодно дезавуирует мессианские претензии микроба. Pamфлетная ядовитость рассказа в финале особенно беспощадна.)

Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, – вдруг мелькнул предо мной мой револьвер, готовый, заряженный, – но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неимоверный восторг поднимал всё существо моё. Да, жизнь, и – проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, – что? Истину, ибо я видел её, видел своими глазами, видел всю её славу!

(В патетике восклицаний болтается как спасательный круг на воде ноль смысла всей этой «ахиней». Во сне «воззвания» ещё “проходили”, но наяву... Перед нами новый пароксизм безделья человека, который ничем не хочет облагородить эту землю, приложив к ней заботливые руки. Руки ему нужны для выпренной жестикуляции – ироническое «делать жесты» Достоевского – никчёмное существование он собирается «понести в массы», чтобы заразить теперь эту планету. Ему не приходит в голову, что Христос был плотником, и что «ручная работа» – отнюдь не плескание руками. Однажды мы уже видели подобное поползновение: когда отпрыск Версилова Аркадий рванулся было за Макаром Долгоруким в странничество, но пыл как-то быстро прошёл как и бывает у всех трепачей и бездельников. Там это было извинительно возрастом. И *что собственно* он собирается проповедовать? «Ибо»? Он видел развращённую своим присутствием чужую планету, которую ничем не сумел облагородить, местных жителей, которых ничему не смог научить, *ибо*, пустышка, сам ничего не знал. Некультурность «культурного героя» и привела к катастрофе. Масштабность происшедшего соблазнила его на новые “подви-

ги” – тихо удавиться, как Ставрогин, он не захотел – синдром Петруши Верховенского сработал. «Подавайте-ка мне всю планету – сейчас я её!».)

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того – люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так – не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдёт ещё хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить.

(Ну, вот наконец и до «дела» договорился. Но что он может, что он умеет? – Не кузнец, не воин, не поэт. Мелкий трепачок, путающийся под ногами у жизни.)

Я ведь и теперь всё это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются.

(Естественный отбор предполагает, что из родившихся выживают не все, но лишь сильнейшие, остальное же большинство погибает. Этот процесс этически отвратителен и выглядит как жестокость на взгляд людей, хотя этот закон действует и в их среде. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». Разбойник, нарушающий принципы жизни в обществе это не просто «человек с другой дорогой», это противоположность мудреца и его смертельный враг, ибо беспощаден к нему как к объекту разбоя. Конкуренция – естественное состояние бытия, и только она способствует повышению качества всех его компонентов; выбраковка предусмотрена самой *процедурой улучшения*: эволюция – самое общее её название. «Пусть будут все!» – лозунг демагогов, которые одновременно прицепляют к себе наган, чтобы тут же, противу логики, жестоко и “заботливо” по отношению ко “всем” добавить: «кроме». *Рай без ада* невозможен, – *ад* это и есть «кроме» *Рая*. Если нет чёрного, значит нет и белого, а есть лишь оттенки серого. Так что «рай» именно здесь, а не там, а Смешной видел *сон*, а не «истину».)

Но как мне не веровать: я видел истину, – не то что изобрёл умом, а видел, и *живой образ* её наполнил душу мою навеки. Я видел её в такой восполненной целостности, что не могу поверить, чтоб её не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет.

(Все эти «гримасы» и «ужимки» возникают, когда роль Макара Долгорукого берётся играть Версиллов. Нестабильность психики, изломанность, неуравновешенность делают это предприятие безнадёжным, даже если человек упорствует в начинании. Судьба поэта-декадента Александра Добролюбова, который почти скопировал Достоевского в этом его своеобразном опусе: ушёл в народ и растворился в нём, – поэта мы потеряли, пророка не приобрели – продемонстрировала всю фантазийность рассказа. «Тысяча» – попытка говорить с Богом на «ты». «Бодр и свеж» герой рассказа для чего угодно, кроме работы. Нести невнятицу, пробавляться бормотухой – вот направление его энтузиазма.)

Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, – вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я *лгу*, и охранила меня и направила. Но как устроить рай – я не знаю, потому что не умею передавать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть...

(Парадоксальность поведения обличает «гнусного петербуржца» под маской «глашатая истины»: охромев, человек поступает в танцоры, «потеряв слова», взбирается на трибуну, «уверовав» раскалывает икону и так далее, и так далее – тысяча лет бреда.)

Но пусть: я пойду и всё буду говорить, неустанно, потому что я всё-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся!

(Ну конечно: полетел, развратил целую планету, преспокойно бросил их деградировать и, свято веруя в всамделешность происшедшего, со спокойной совестью принял за вторую жертву. Но в отличие от тех, «ангелов», наши не сказали ему пока о сумасшедшем доме, хотя социальную опасность в новоявленном мессии уже почувствовали.)

Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон?

(Здесь прямое указание на название Кальдероновской пьесы.)

Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уж это-то я понимаю!), – ну, а я всё-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, *в один бы час* – всё бы стразу устроилось! Главное – люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдёшь как устроиться. А между тем ведь это только – старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья» – вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас всё устроится.

(Какая хитрая и тонкая подмена! Имя Христа нигде не упомянуто, между тем Христос двуединая сущность: с одной стороны Он жертвенный Агнец Божий, с другой – Лев, Грозный Судия, с мечом разделения и огнём попале-

ния плевел, с наиважнейшим: «Не мечите перлы перед свиньями». Вторую половину, как неприятную и нежелательную, откинули, и получился розовощёкий кукольный серафим из новогоднего вертепчика – «дама, приятная во всех отношениях», с вырванным жалом пола, жалкое и ничтожное существо. Только грибы живут без знания законов жизни, и такая “жизнь” называется существованием. Призыв: «назад в безгрешный миоцен!» – ракоходная фига, под знаменем которой хотят провести децивилизацию человечества. Но человечество не провести: истины без Христа быть не может, и всякая самодеятельность взбесившихся тунеядцев обречена, ибо смешотворна. Толстой боролся со своей непомерной гордыней пахотой и косьбой. Философствование как порождение праздности – наследие древнегреческой «дольчефорниенты» и отсутствовало в трудовом и строгом Египте. «Благие порывы» всегда возникают в результате неблагой предыдущей жизни и нежелания приложить себя к чему-то конкретному. Обратите внимание, что каллиграфия князя Мышкину так и не пригодилась, да и не для того он «разучил почерк отца Пафнутия», чтобы созидать, но чтобы развлекать. Мир героев Достоевского – это мир “обезьян-игрунков”, развлекающих себя, чем могут, лишь соприкасающиеся с большим и серьёзным миром, где люди заняты напряжённым жизнестроительством и мироустройством. Гениальность в его описании не отменяет всей пустопорожности этого мирка. И Смешной – его новоявленный мессия, апостол и пророк. Кукольные “страсти” вполне подходят к этому картонному королевству – бутафорским владениям губернатора из «Бесов». Погорельцы и «дитё» – это грозные реалии *того*, другого мира, к которому «гнусные петербуржцы», «хвастуны и лжецы» не имеют ни малейшего отношения.)

«А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!»

Отыскал – и что? Тогда было дело и нужна была помощь, и тогда он ей не помог; а теперь он ей зачем? Тем более, если помог кто-то другой. Но так вопрос и не ставится: она просто грязная кукла с улицы – захотел подобрал, захотел не подобрал. О её желаниях речь не идёт. Эгоцентрик, ненавидящий людей вблизи, не может рассуждать по-иному. Ну вот, он увидел её вблизи – и что? Попросил прощения? Угостил конфеткой? Удочерил сиротку? И почему она должна простить того, кто отказал в помощи в отчаянную минуту? Сам безработный и бомж, кого он может взять на иждивение? Если «И пойду! И пойду!», значит не удочерил: какое уж тут «И мой Лизок со мною!» Бесполой говорун – из него не получится Тоцкого, который выпестовал Настасью Филипповну и остался навсегда единственным её мужчиной.

Теперь, почему «И пойду! И пойду!», когда «И вот с тех пор я проповедую!» Что, с «тех пор» так никуда и не ушёл? Или сделался уличным приставайкой и дворовым зазывалой? Может, стал странником, как Макар, но почему он тогда до сих пор в Петербурге? «О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на

тысячу лет!» Как бы ему остановиться и сделать что-нибудь полезное. Но нет, ему не до пустяков, он одержим всемирной проповедью: «проповедь добра важнее добра!» – вот формула «мечтателей» Достоевского, самых *лишних* из всех “лишних людей”.

Конечно, это пародия на Лермонтовского «Пророка» с его уморительным «Посыпал пеплом я главу». Это пепел от погорельцев из «Братьев Карамазовых». Правда, дитё плачет и дергает за рукав, – но «дитё» – отменить и уволить! Заменить «дитё» на евреев с цимбалами или цыганский хор! А тут ещё русский барин “парижского разлива” Иван Сергеевич, весь прозовый от «Стихотворений в прозе». – А мы его поэмкой, поэмкой, – и «Пушкинской речью» промеж роги! Если он – «ближний», возлюбим *дальнего* (после разращения – «своего») на окраине вселенной. Прозовощёкость не пройдёт! А мы – пройдем, бодрые и свежие.

Между прочим, Квадриллионыч – наш родной брат, мы «близнецы-братья», только он грянул «осанну» *там*, а мы *здесь*, что будет поядрёней. «Провозглашать я (обратите внимание: я) любви И правды чистые ученья, В меня все ближние мои Бросали бешено камня». Вот почему любить надо только дальних: дальним не докинуть. Но тут, как назло, одни ближние. Хорошо, что в каске иду. «И дым отечества мне сладок и приятен» – это снова о погорельцах.

«Люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных». Это мнение клоуна или эстрадного юмориста. «Гнусный петербуржец», «хвостун и лжец» – это всё подмиги публике и призыв к ржачке. «Я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдёт ещё хуже». Таков помещик Максимов из «Карамазовых», прихлебатель и паяц, и Фёдор Павлович в молодые годы, или Александр Сергеевич периода расцвета. «Всё изменяется под нашим Зодиаком: Лев Козерогом стал, а Дева стала Раком». – Любил потешить честную компанию. «Не дай мне Бог сойти с ума». Действительно, тут до Поприщина только один шаг... «Государственный сумасшедший» Чаадаев. Помните? – «Карету мне, карету!» – “Скорую помощь” звал. Сплошная ча-ча-ча.¹ За любовь к философии определили в юридивые. Де юре. Сбивайся себе сколько хочешь. Хохочешь – не хохочешь. «И дым отечества нам сладок и приятен...» Девиз всех пожарных. Или это они приехали со своей бочкой, заливать, остужая, квасом «человека чересчур»?

«Да пошёл бы ты!..»

«И пойду! И пойду!»

Так заканчивается зенит суперконструкции Достоевского. Создав памфлет на других, он, как всегда, поиронизировал и над собой. Своё пророческое служение он стал ощущать, как только освободился от наваждения ру-

¹ Чаадаев – Чацкий – Чарский.

летки. Победы над собой – самые великие. «Пушкинская речь» укрепила его в этом качестве. Поводырь – пастырь – водитель – таким он был в последние годы, таким уходил. В отличие от слабака Гоголя, попам не предался, несмотря на двукратную потерю любимых детей. И Сонечка и Алёша влились в плоть Пятикнижия и теперь живут в этом пространстве. В противовес толстовству «человека роящегося», растоптанному войнами и зверствами тоталитаризма двадцатого века, встала орденская культура, апологетом и проповедником которой он был всю жизнь, и она испытания выдержала. Христос-Лев с огнём и мечом победил “религию атеизма” и историю культа, которыми переболело человечество за последние полтора столетия. Достоевский отстаивал достоинство человека-личности, оправдав свою фамилию до глубин. Пусть «всё смешалось в доме Облонских», пусть вдарили топоры по деревьям вишнёвого сада, но храм Религии Духа невозможно взорвать. Вновь пришло «время собирать камни», но камнями обстраивается *божественная вертикаль*, и человек прямоходящий упорно встаёт с четверенек. Ибо человеческое *достоинство* – частный случай *её* проявления в личности. *Лицо* проросло сквозь гоголевские рожи, и великая удача Достоевского компенсирует провал второго тома «Мёртвых душ». Однако – где у Достоевского *избранные*? Князь Мышкин спятил, Зосима провонял, Алёша дискредитирован Лизой как будущий муж и ушёл в аут. Но Достоевский сумел показать невероятное: **победоносность этих поражений**. Победа духа часто связана с поражением тела: «плоть немощна, дух же бодр». Массовая культура вся спаяна с телесностью, потому постоянно требует смены декораций. Но рядом стоят нерушимые хранилища духа, где собран итог деятельности человека на земле. Как мы любимся тем, что Бог сотворил в Шесть дней Творения, так Он любит себя тем, что Человек сотворил в день Седьмой. Данте и Бах, Имхотеп и Леонардо оправдывают пребывание Человека Разумного на обитаемой планете Солнечной системы. В этом же ряду стоит и Фёдор Михайлович Достоевский. Он всей своей жизнью и творчеством показал, что **избранных развратить невозможно**. Время боится не пирамид, время пасует перед их создателями.